

Книги по ведомству «литературы существования» (так в одноимённой статье 1996 года назвал — по аналогии с философией существования: экзистенциализмом — невымышленные сочинения огневой писатель этой литературы Александр Гольдштейн) выходят в наши дни одна за другой, и «Случай Орфея» безусловно оправдывает введение благородного, высокого термина. Существование Манука Жажояна, столь напряжённое в эссеистике, приобретает полнокровность, светотень, объем жизни в его дневниках. (Жизнь Манука оборвалась рано, внезапно и жестоко: в неполные 35 лет его сбила машина на Невском проспекте). Стилистическая отделанность дневниковых записей говорит об авторском расчёте на читателя, а в том, что этого читателя автор, помимо себя, со временем стал видеть разве что в своей *altra ego* (по слову Иосифа Бродского), убедит интонация пишущего: как-то (а как, невозможно определить) совсем не на продажу. *Опыты* жизни и мысли — в дневниках, эссе и даже рецензиях — ярчайшее в духовном наследии Манука Жажояна. Скорее, хочется говорить о душевном наследии, ибо при всей своей интеллектуальной пестроте книга воплотилась как одна цельная душа. В цветаевском понимании. Манука при этом

романтиком в чисто литературном смысле не назовёшь. Для этого вполне современного литератора определение Жуковского — «романтизм — это душа» — можно без натяжек расширить: литература — это душа.

С такой литературой он и выходил к читателю парижской «Русской мысли», где в 1993–1997 годах еженедельно печатались его рецензии, реже — эссе и стихи. Лучшие из рецензий он успел сам отобрать в «Избранную подёнщину». При том, что блеску его «подёнщины» можно было только позавидовать (как все те годы и завидовал автор этих строк), его коронным жанром было эссе. То ли Париж его обязывал, то ли был он рождён для этого традиционно французского жанра — так или иначе, острый галльский смысл и галльское же чувство меры направляли перо молодого эссеиста.

Язвительный писатель и мягкий человек неразделимы в его текстах. Что это, мастерство, писательский талант? Я думаю, склад личности. Искать родственные ему фигуры надо не среди писателей, а среди своих знакомых, друзей (еще вернее — возлюбленных). Все мы знаем таких людей — саркастичных и одновременно ласковых, под кожей часто на грани отчаяния и — смеющихся. И умных, умных. Все мы предпочитаем вести разговоры именно с ними. Таким родным человеком из жизни перелетел на бумагу Манук. Панибратства при этом с собой не захватил. Немало сейчас других блистательных говорунов в эссеистике, но при всей их склонности к подмигиванию редко они смотрят в глаза собеседнику. Не то Манук. И потому никак не отвязывается строчка из его стихов: *«Не молчи. Я полжизни искал этих райских бесед»*.

(У читателя может создаться ложное впечатление, что автор этой рецензии был лично знаком с Мануком Жажояном. Откуда это: Манук, Манук? Почему не Жажоян? Соображения я могу предложить только легковесные.

Во-первых, есть люди, которым в том или ином контексте имя идёт больше фамилии. Очевидный пример — Веничка Ерофеев. Столь же неуловимую роль играет и внешность. Фотоиллюстрации в «Случае Орфея» при всей скромности полиграфии не могут скрыть лицо-имя.)

Упоительно слушать его. *«Я не могу себе представить зрелища удивительнее, чем человек, напевающий чужую мелодию. Нет ничего интимнее этой минуты, нет отношений теплее и тоньше, доверчивее и вместе с тем стыдливей, чем отношения создателя мелодии и повторяющего, воспроизводящего её любителя».* Или: *«Я превращаюсь в старуху, когда не пишу».* Воображение его так подвижно, мысль так своевольна, что для её же блага лучше всего её продвинутыми формами изящной словесности не баловать. Письмо Манука стилистически — сама невинность. Свободу слова он осознает как точность, особенно в дозировке сантимента, временами очень сильного и незавуалированного. За пристрастие к сарказмам платит абсолютным воздержанием от ёрничества. Речь его будто принадлежит эпохе до стёба, но писал он в пору пика истерики российского дискурса.

Мир спасёт не красота, а юмор — такое подозрение рождает эссеистика Манука. Тот юмор, который и есть красота — неотличимый от серьёзности. Спасёт, по крайней мере, литературу и уж наверняка — семиотику: жажояновская «Последняя семиотика» тому свидетельство. «Последняя», поскольку смех смеётся последним, замыкая круг познания и размыкая следующий виток диалектической спирали. А как иначе демонтировать такие знаки повседневной жизни, как слава, брак, семейная ссора, письмо, эмиграция, сплетня, ложь? Или, к примеру, поцелуй? *«Итак, первое: поцелуй — это сокрушительный удар по брезгливости, от которого брезгливость не оправится уже никогда».* И такого человека в расцвете лет сбила насмерть

машина? в его любимом Питере? зачем? На такие вопросы философия существования не только не отвечает, но и не ставит их — это дело литературы существования.

Самая оригинальная работа Манука, на мой взгляд, эссе «Сорок тысяч братьев» — о любви в браке и вне брака, о жене-сестре и любовнице. Легкость, с какой он остается целомудренно бесстыдным, видимо, особый дар. С оттенком безумия, его «теория тела» безжалостна (к новобрачным). В ее фундаменте — коллективное сознание и бессознательное армянского народа, выше всего ставящего в женщине сестру. Теорию он укрепляет аргументами поэта: *«Меня очень трудно убедить в том, что есть в мире язык, в котором это слово — “сестра” — было бы неблагозвучным»*. (В стихах та же тема удастся только в отдельных строчках: *«Что мне тело твоё, если ты родилась бестелесной?»*) Его философия, неотличимая от поэзии, питается и русской мудростью — «Крейцеровой сонатой». Выливая свой ушат холодной воды на «тело» в браке, он идёт дальше — к освобождению от «пола» в браке. Супружество — высокая свобода.

Тут видна закалка духа нешуточным бытийным опытом, мудростью — довольно-таки ранней в тридцатилетнем возрасте. Но в случае Манука возраст и мудрость надо помножить на два, а то и на три — по числу стран (Армения, Россия, Франция) обитания, ибо он из всемирно отзывчивых. Вот он пишет в «Исповеди»: *«Россия и Армения долго смотрели друг на друга, долго стремились друг к другу, и только во мне они соединились, разные, равновеликие, как не соединились ещё ни в ком: они соединились в любви. Так любить одновременно Россию и Армению могу только я»*. Извольте понимать буквально — есть комментарий в виде многих трезвых страниц.

Дневники Манука выдают, что это дитя добра и света, каковым знали его читатели «Русской мысли»,

ещё и дитя большого отчаяния. И сколько бы отчаяние ни перерабатывало себя по законам творчества в свою противоположность, невидимое подводное течение ощущалось и притягивало читателя. То, что образует книгу, дневник ставит под вопрос — сами основы духовного существования автора, то, чем он жил, на чём выживал: человеческое общение, религию, культуру, литературу. Его антилитературный бунт беспощаден: *«Литература (чуть не написалось — литературва) — стерва и потаскуха; она не способна оценить толстовской романтичности твоих отказов и уходов, их страдальческой, напряженной вынужденности. Стервы не понимают таких вещей. Она, твоя литература, никогда не поймёт патетики «полной немоты», как потаскуха, именно потому, что она, потаскуха, никогда не поймёт патетики, скажем, полного воздержания».* Бунт Манука на фоне его неровного, хотя и обаятельного стихотворчества, особенно чётко проявляет его правду: это случай поэта именно что литературы существования. Неслучайно в эссе, давшем название всей книге, автор замечает, что *«история Орфея — это история не поэта, а любящего».*

Нелитературные деконструкции высоких мифов Манук производит тогда, когда в опоре больше всего и нуждается — в одиночестве эмиграции. Оно и понятно — как и углубление самоанализа. Опять Манук стилистически прост и содержательно сложен. То есть честен. *«Здоровье есть честность, не так ли?»* Так. Здоровье есть и тонкость. Да и сложность неодноклеточных — здоровье.

Что привело его в 1992 году в Париж? Наверное, то самое, что и в Россию из Армении — центробежность и центростремительность одновременно (я во всём, и всё во мне). Манук оказался по нынешним временам в полуэмиграции. В этой позиции можно смотреть на

эмиграцию извне и изнутри, легче разглядеть за эмиграцией «экзистенцию» — как в случае Георгия Иванова. «Страшные стихи ни о чём» М. Жажояна, может быть, лучшая статья о Г. Иванове.

Прагматику эмиграции Манук понимал неплохо: всё же он был эмигрантом с внушительным стажем, учитывая его опыт жизни на три страны. Особенно удался ему портрет Четвертой волны эмиграции (последней на сегодняшний день) в очерке «Блеск и нищета парижанок». Статьи о Париже у него не могли не получаться. Да и стихи парижской темы — самое заметное, броское, что он оставил в поэзии. Такой одержимости Парижем не знали поэты «парижской ноты» — выездные и до Первой волны эмиграции:

*Только тем и тешишься, что Париж
на улице Денуэтт,
Ковыряешь строку, как прыщ,
на улице Вожирар,
Не о том, не о том говоришь
на улице Дюрантон.*

Рано или поздно запутанность его отношений с Парижем (дневник тут многое может рассказать о типичной для пришельца любви-ненависти) должна была разрешиться на уровне *tour de force*. В «Пьяном автобусе» всё слилось и спелось. Париж и — покинутая Мануком земля под перезвон «Заблудившегося трамвая» Гумилёва, воя электрички «Москва-Петушки». Ритм «Автобуса» — от «Пьяного корабля» Рембо, но драйв его собственный, Манука, и берёт он нотой пьянее:

*Обули догола кондукторы в зелёном
Водителя, что мой любимый правит
рейс...*

Я не думаю, что Париж русских поэтов представим теперь без рейса «Пьяного автобуса», без «Парижа бастующего». Если не «Пьяный автобус», то многие из стихов Манука о Париже я отдам за один этот его газетный очерк. И не потому, что он написан какой-то невиданной прозой, нет, это обычная речь, репортаж журналиста о забастовке городского транспорта. Но магическое воскрешение автора здесь достовернее, чем в стихах.

«Пешее передвижение — единственное для меня нравственно допустимое. Всякий раз, когда я сажусь в метро или в автобус, я совершаю маленькое предательство по отношению к самому себе. И чтобы это предательство не разрослось до размеров непереносимых, я оправдываю его спешкой или чем-нибудь ещё.

Любую чахлую трёхдневную забастовку парижского транспорта я принимал как личный подарок. Надо ли говорить, что значит для меня вот уже трёхнедельная забастовка? <...>

Именно теперь начинаешь осознавать всю порочность неспешных прогулок «в мирное время». Это озирание по сторонам, этот интерес к тому, чего ты не оплатил 240 километрами своей жизни; этот шаркающий, любопытствующий шорох — вместо измождённого гула миллионов ног, с каждым шагом преодолевающих измождение, словно вытаптывающих вторую часть бетховенской «Девятой симфонии».

В «Париже бастующем» человек шагающий и человек рассказывающий совпадают. Не самая ли это большая удача человека пишущего?

Первая публикация: в журнале «Знамя» 2001, № 12. Эссе печатается в сокращении.